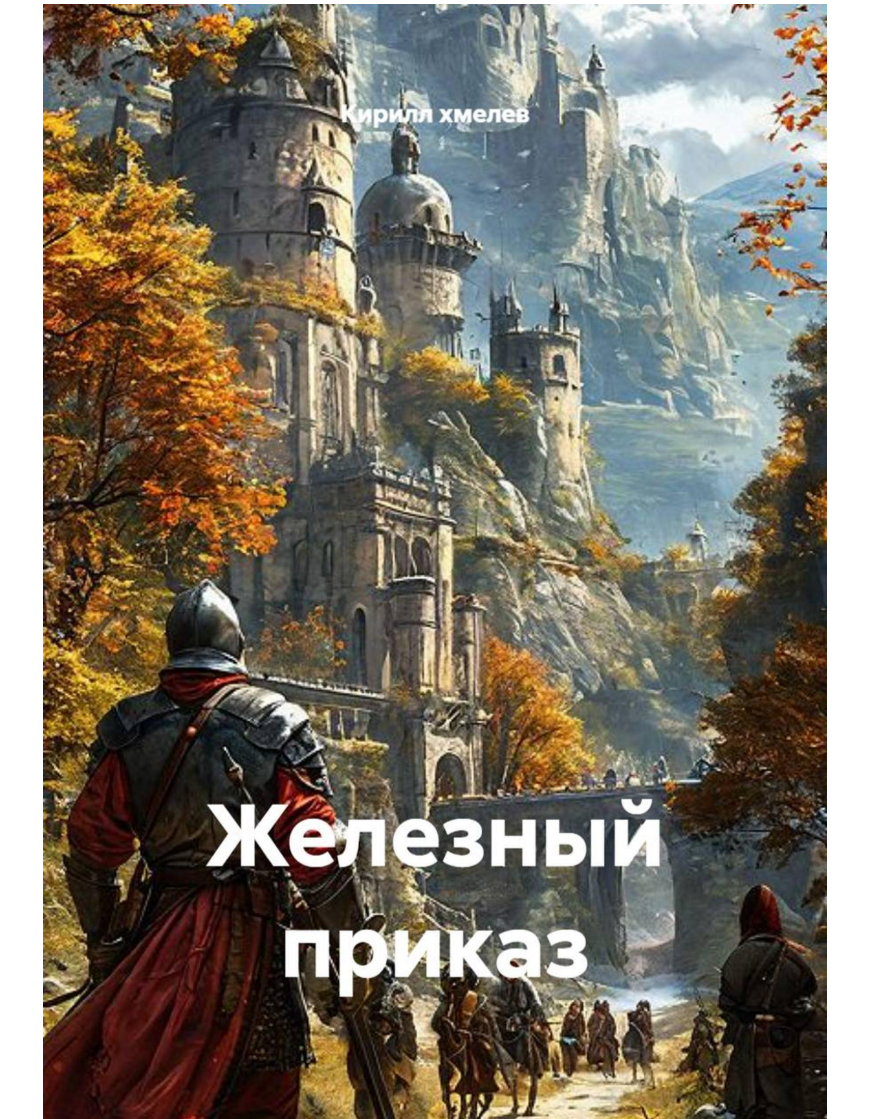




Кирилл Хмелев

Железный приказ

Кирилл хмелев

Железный приказ

<https://litres.ru/74248572>

SelfPub; 2026

Аннотация

Россия, [предположение: 1547–1565 годы] — эпоха Ивана Грозного, опричнины и стремительных реформ, меняющих облик государства. Московское царство балансирует между экспансией на восток, войной на западе и внутренним террором. Главный конфликт книги — столкновение двух версий истории: той, что случилась, и той, что могла бы случиться, если бы в нужный момент в нужном месте оказался человек с иным знанием и иной волей.

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Кирилл хмелев

Железный приказ

Глава 1

Горн разгорался нехотя.

Иван ткнул мехами ещё раз, и угли наконец занялись — сперва алые края, потом белый сердечник, от которого пошёл сухой жар. В кузнице сразу стало теснее: темнота по углам отступила, но не ушла — просто сгустилась, затаилась под закопчёнными стропилами. За открытой воротиной серело осеннее утро, пахло навозом, мокрой соломой и дымом соседних очагов.

Иван сбросил с плеч армяк, повесил на вбитый в столб деревянный костыль. Натянул кожаный передник — тяжёлый, прогорелый на груди, — завязал тесёмки на боках. Руки помнили этот порядок без участия головы: развязать, надеть, затянуть, взять клещи, проверить молот. Семнадцать лет — половину из них он провёл в этой кузнице, сначала глядя, потом мешая под ногами, потом помогая, потом работая.

Со двора донёсся скрип колёс и сдержанная ругань.

— Поаккуратней, леший тебя забери!

Это отец. Значит, воз с ломом приехал.

Иван вышел во двор.

Телега стояла у ворот, лошадь переступала с ноги на ногу и роняла на мостовую горячие катышки навоза. Возчик — мужик с лицом цвета сырой глины, в треухе, сбитом на сторону, — слезал с облучка, придерживая рукой шапку. Отец стоял у борта телеги и смотрел на груз с видом человека, которого уже обманули, но ещё не знает чем.

В телеге было железо. Обломки кованых решёток — такие ставят на монастырские окна и богатые подклети. Петли, оторванные с мясом, с остатками дерева в проушинах. Скобы, гвозди, обрезки кровельного листа, свёрнутые в трубку от жара пожара. Ржавые цепи лежали сверху, и при каждом движении телеги тихо позвякивали.

Пахло горелым железом, старой ржавчиной и ещё чем-то — сладковатым, чуть тухловатым: так пахнет от городских пожарищ, когда туда приходят мародёры.

— Где набрал? — спросил отец, не глядя на возчика.

— Из Белого города везут, — сказал тот. — После пожара. Хозяин дворища продаёт, что осталось. Сам уехал, приказчик распоряжается. Честный товар, Родион Матвеевич, чего смотришь.

— Честный товар смотреть не боится. — Отец взял обломок решётки, поднял к свету. — Цену называл?

Возчик назвал. Отец крикнул, как будто ему наступили на ногу.

Они начали торговаться. Иван не слушал — это могло тянуться долго. Он подошёл к телеге с другой стороны и начал

разбирать кучу руками, прикидывая, что здесь есть.

Работа привычная: берёшь кусок, взвешиваешь в руке, решаешь — в переплавку сразу или сначала выправить и пустить в дело. Решётки — хорошее железо, если не пережжённое. Петли почти все негодные, слишком ломкие. Скобы крупные, можно попробовать. Цепи — посмотреть, нет ли трещин. Руки двигались сами, ум блуждал где-то в стороне: вчера вечером Гришка Семёнов сказал, что на торгу видели купеческий обоз из Нижнего, шесть подвод, — значит, скоро будет работа, заказы на окованные сундуки и дверные накладки. Надо было поговорить с отцом, может, взять подмастерья хотя бы до зимы, потому что одним втроём не управиться, а Митька уже третью неделю кашляет и к огню его пускать нельзя.

Цепь скользнула под пальцами, и Иван нащупал что-то другое.

Он не сразу понял, что именно. Просто рука почувствовала — не то. Не такой вес, не такая поверхность.

Он раздвинул цепь в сторону.

Цилиндр лежал среди ломаного железа, как камень в грязи — отдельно от всего. Примерно в локоть длиной, в ширину — чуть больше мужского кулака. Без швов снаружи. Без ручек, петель, любых выступов. Тёмный металл — не ржавый, а именно тёмный, с чуть матовым отливом. Иван оглядел его, не торопясь брать. Потом взял.

Тяжёлый. Неожиданно тяжёлый для своего размера — как

будто внутри была не пустота, а что-то плотное. Иван перекатил его с ладони на ладонь. Снаружи гладко, прохладно — слишком прохладно для железа, которое лежало в куче с другим металлом под осенним небом. Никакой ржавчины, ни пятнышка. Остальное в телеге — всё в пятнах, всё тронутو временем и огнём. А этот — будто только что с наковальни.

— Тять, — позвал Иван.

Отец не слышал — торговался с возчиком, перешёл уже на сторублёвые обиды.

— Отец.

Тот обернулся с видом человека, которого оторвали от важного дела.

Иван поднял цилиндр.

Отец помолчал, посмотрел, потом кивнул возчику — мол, подожди — и подошёл. Взял цилиндр в обе руки, поднёс к глазам. Повернул. Постучал костяшкой пальца по боку — звук получился глухой, тяжёлый, как будто не отдельный, а продолженный чем-то внутри.

— Внутри есть что-то, — сказал Иван.

— Слышу. — Отец ещё раз постучал, с другого конца. — Неизвестно чьё.

— Хорошая работа. Ни шва.

— Хорошая работа — чья? — Отец опустил цилиндр, вернул Ивану. — Неизвестно. Чужое добро — чужие беды, Ваня. Переплавь или выброси. Не лезь.

Он вернулся к возчику. Иван постоял, держа цилиндр двумя руками. Отец был прав — конечно, прав. Неизвестно откуда, неизвестно чьё. Может, украдено. Может, спрятано намеренно. Может, хозяин ищет. Ввяжешься — греха не оберёшься.

Иван отнёс цилиндр в кузницу и положил на полку за верстаком — туда, где хранились вещи, которые не выбрасывают и не пускают в дело, а просто откладывают: сломанный нож с хорошей рукоятью, обломок иноземной монеты, детское кольцо, найденное в земле при копке фундамента. Не переднее место, не на виду — но и не на улицу.

За воротами отец наконец сошёлся с возчиком в цене. Слышно было, как они ударили по рукам — сухой хлопок ладони о ладонь.

Иван вернулся к горну.

Угли горели ровно.

* * *

Отец ушёл перед полуднем — сказал, что на торгу должны быть купцы с уральским железом, пообещал вернуться к вечеру. Иван проводил его взглядом, подождал, пока шаги не стихли за воротами, и снова взял цилиндр со стола.

Вещь лежала в ладони тяжело и без теплоты, как лежит металл, долго пролежавший в земле. Снаружи — ни насечки, ни литья, ни клейма, ничего, за что мог бы уцепиться глаз. Иван уже обошёл его пальцами раз десять и знал каждый миллиметр поверхности, однако снова прошёлся по ободу —

медленно, с нажимом — и на этот раз почувствовал то, что вчера принял за случайную царапину. Едва заметная канавка, ровная, замкнутая в кольцо, как будто кто-то провёл по металлу шилом с линейкой. Шов. Залит чем-то мягким — олово, или похожее, — и затёрт так тщательно, что снаружи не отличить от остального тела.

Иван поставил цилиндр на наковальню. Взял тонкое зубило — то самое, которым работал по меди, с острым узким жалом. Примерился.

Отец сказал бы: выбрось. Отец уже сказал именно это вчера вечером, и Иван кивнул, и соврал — первый раз за долгое время соврал отцу молча, одним кивком. Это само по себе было странно. Не то чтобы он прежде никогда не лгал, но молчаливое согласие при полном намерении поступить иначе — это другое, это не горячая вспышка, а что-то холодное и обдуманное.

Он ударил.

Металл поддался с сухим хрустом — не лопнул, а именно поддался, как будто только и ждал этого. Олово в канавке раскрошилось, крышка чуть повернулась и отошла, и Иван почуял слабый запах — не гнилой, не затхлый, а скорее как запах старой бумаги в монастырской библиотеке, куда его однажды пускал отец Парфений. Сухой, чистый, почти нежилой.

Внутри лежал свиток. Завёрнутый в промасленную тряпицу, плотно скатанный, перетянутый тонкой верёвкой. Иван

вытащил его осторожно, двумя пальцами, как будто боялся смять. Верёвка была не пенькой — что-то тоньше, почти как шёлковая нить, только прочнее на ощупь.

Он положил свиток на верстак и медленно снял верёвку. Развернул тряпицу. Бумага оказалась под ней белой — не пожелтевшей, не ломкой, не тронутой мышами. Такой белой, что на миг показалось: написано вчера.

Иван посмотрел на буквы.

Кириллица, всё знакомо, он умел читать — отец научил, хотя в посаде это было редкостью. Слог не церковный, не приказной, совсем не тот тяжёлый оборот, которым писали дьяки в грамотах. Почти разговорный — и от этого ещё более чужой, потому что живых людей так не пишут, только говорят, и то не при посторонних. Слова были понятны, но порядок их иногда резал слух, как режет слух чужое наречие, когда знаешь язык, но говорит человек издалека.

Иван поднёс лист ближе к свету, идущему из низкого оконца, и стал читать.

Тихо, почти по складам поначалу — не от неграмотности, а потому что казалось: произнести вслух — значит сделать что-то, чего уже не отменить.

— В лето семь тысяч шестьдесят восьмое от сотворения мира, в месяце марте, выгорит Арбатская улица от церкви Николы до Смоленской дороги. Причиной назовут нерадивость пекаря, но огонь начнётся в государевом амбаре.

Он остановился.

Март. Год, который ещё не наступил. Иван знал летосчисление — отец Парфений гонял его по этому. Март следующего года — это... это через несколько месяцев. Ещё снег лежит, когда придёт март, ещё ничего не случилось, Арбатская улица стоит себе и не горит, и никакой пекарь не виноват ни в чём.

Он перечитал строку ещё раз. И ещё.

Потом пошёл дальше.

Там были имена. Он не все знал, но некоторые узнал — люди при государевом дворе, о которых говорили на торгу воплолоса. События, названные с такой же простой точностью, как называют вчерашнюю погоду. Казнь. Голод в Новгородских землях на следующий год после засухи. Посольство, которое не вернётся. Имена, которые исчезнут.

Рукопись не пугала и не звала. Она просто сообщала. Спокойно, как приходская книга записывает крещения и отпевания.

Иван не заметил, что читает вслух — тихо, почти как читают молитву в одиночестве, губами, без звука, только дыхание.

Со двора скрипнула калитка.

Он не услышал шагов — почти не услышал, — но что-то изменилось в тишине, и Иван резко свернул свиток, завернул в тряпицу — неловко, один конец торчал — и сунул за пазуху, под рубаху. Холодный пергамент лёг на кожу.

Отец вошёл без стука, как входят к себе домой. остано-

вился на пороге, посмотрел на наковальню, на лежащее зубило, на крышку цилиндра рядом.

Пауза была совсем короткая. Отец умел молчать — не то молчание, что от растерянности, а то, что бывает, когда человек уже всё понял и только решает, говорить ли вообще.

— Сказал же — выбрось, — произнёс он наконец.

Не зло. Не громко. Устало, как говорят о том, чего давно ждали.

Иван не ответил. Стоял у верстака и чувствовал, как холодный свиток согревается под рубахой от его тела.

* * *

Отец вошёл в кузницу молча — Иван услышал шаги раньше, чем увидел его. Тяжёлые, медленные: не злые, а усталые. Такими шагами ходят, когда уже незачем торопиться.

Он не стал кричать. Сел на чурбак у наковальни, поставил ладони на колени и посмотрел на Ивана так, как смотрят на что-то сломанное, что всё равно придётся чинить.

— Слушай меня, — сказал он без голоса, почти шёпотом. — Не горлом — головой слушай.

Иван стоял у стола, рукопись была при нём, под рубахой, за поясом — он и сам не заметил, как переложил туда. Плотная кожа прижималась к боку. Он не двигался.

— Железный лом — ладно. Лом бывает всякий, откуда он пришёл — один бог знает. — Отец говорил ровно, будто считал чурки для печи. — Но в этом ломе оказался цилиндр. В цилиндре — письма. И ты их читал. Теперь соображай: это

чье? Либо дьяк какой беглый зарыл своё — значит, опальный. Либо боярин в опале спрятал, чтобы выкрасть потом. Либо что хуже — чужое, иноземное, и тогда вовсе не спрашивай, что будет. — Он помолчал. — Любой из этих вариантов кончается одинаково. Ты понимаешь, как — одинаково?

Иван понимал. Кончается пыточным подвалом и виселицей на торговой площади. Или без виселицы — просто тихо, и никто не спросит, куда делся кузнецов сын.

— Это не переписка боярина, — сказал он.

— Не перебивай.

— Я не перебиваю. — Иван поднял голову. — Там написано про будущее. Про то, чего ещё не было. Года, имена, события — которых нет. Это другое.

Отец не двинулся. Посмотрел на него долго, потом кивнул — один раз, коротко, словно поставил галочку в каком-то внутреннем счёте.

— Про будущее, — повторил он без интонации.

— Да.

— Значит, ещё хуже. — Отец потёр лоб тыльной стороной ладони. — Мало ли что там написано — важно, что найдут при тебе. Тайное письмо в запаянном цилиндре. Нашёл — не донёс. Скрыл. Читал. Чем ты это объяснишь дьяку? Тем, что там будущее написано? — Он посмотрел на Ивана без гнева, только с тем тихим отцовским отчаянием, которое хуже крика. — Дурак ты. Не плохой человек — дурак. Разницу знаешь?

Иван знал. Плохой — тот, кто хочет зла. Дурак — тот, кто хочет как лучше и делает как хуже. Он и сам себе это говорил иногда, в темноте, когда в голове крутилось что-то лишнее. Но сейчас это слово не попадало в него — скользило мимо, как вода с перекалённого железа.

Он промолчал.

Отец смотрел. Не на лицо — на руку. Иван держал правую руку у груди, не намеренно, просто так получилось, прижимал локоть к боку, где лежала рукопись. Отец смотрел именно туда, и в этом взгляде было что-то, что Иван ненавидел больше слов. Понимание. Отец понял, что рукопись там, что Иван её не отдаст, и понял это раньше, чем Иван успел это подумать.

Тишина в кузнице была плотной. Снаружи что-то скрипело — телега на Переведениковской улице, может, или ворота у соседей. Зола в горне ещё светилась красным — одним краем, у дна.

— Отдай, — сказал отец. Не приказал. Попросил. Это было хуже.

— Нет.

Слово вышло коротким и твёрдым, как заклёпка. Иван не кричал, не оправдывался. Просто сказал — и всё.

Что-то изменилось в лице отца. Не сломалось — перестроилось. Как металл, которому дали остыть и больше не ждут от него пластичности.

Он смотрел на руку Ивана ещё секунду. Потом встал с

чурбака — медленно, как встают, когда каждое движение стоит усилия. Прошёл к стойке, снял молот. Взял его привычно, без суеты, проверил рукоятку большим пальцем.

Встал к наковальне спиной к Ивану.

— Иди домой, — сказал он. — Мать ждёт с ужином.

Разговор был закрыт. Не решён — закрыт. Это Иван понял сразу. Отец не уступил, он просто ушёл в себя, как уходят за закрытую дверь: снаружи слышно, что там кто-то есть, но стучать бессмысленно.

Молот опустился на полосу железа — удар был точным, рабочим. Отец бил без ярости, без лишней силы. Просто делал то, что нужно делать.

Иван стоял ещё немного. Смотрел на широкую спину отца, на то, как двигаются плечи при каждом ударе, на оспины от старых брызг металла на кожаном переднике. Двадцать лет этого передника. Двадцать лет этой кузницы.

Рукопись давила в бок.

Он повернулся и вышел, не сказав больше ничего. Снаружи уже смеркалось — небо над посадом было серым, с желтоватой полосой на западе. Пахло дымом из соседних печей и мокрой землёй. Где-то далеко собака лаяла коротко, раздражённо, и замолкала.

За спиной — ровные удары молота. Отец работал.

* * *

Лучина догорала.

Иван не вставал подправить — пусть. Темнота в углу куз-

ницы казалась ему сейчас правильной, почти заслуженной. Свиток лежал на коленях, края его чуть загибались, словно пергамент хотел свернуться обратно и забыть, что его разворачивали.

Снаружи ветер гонял по двору поздний снег. Скотина в соседнем дворе возилась и замолкала. Кузница держала тепло плохо — щели в кладке заткнуты ветошью, но ветошь не спасала, и от очага уже не тянуло жаром, только чуть слышимым теплом остывающего камня. Иван этого почти не замечал.

Он читал третий раз подряд один и тот же кусок.

Рукопись была написана чётко, почти без скорописных сокращений — будто тот, кто писал, хотел, чтобы поняли с первого прочтения. Чернила потемнели, но не выцвели. Иван не был книжником, читал по складам в детстве, но с тех пор набрался — отец гонял его к дьяку при Никольской церкви три зимы подряд, пока не решил, что хватит. Хватило.

Имена.

Вот что останавливало его на каждой строке. Имена были настоящие — не выдуманные, не из святцев. Иван Висковатый, думный дьяк государев. Алексей Адашев, любимец царя. Сильвестр-поп. Написано было так, будто всё уже случилось: «и в лето такое-то казнён», «и в лето такое-то умер в заточении», «и такой-то лишён милости государевой и сослан». Год, имя, судьба — одной строкой, без жалости, как

запись в церковной книге.

Иван знал эти имена. Не лично — он был кузнецовым сыном с посада, какое ему дело до думных дьяков. Но имена эти слышались: на торгу, от купцов, от странников. Висковатый — государев человек, в большой силе. Адашев — и вовсе почти легенда, про него говорили с тем особым уважением, с каким говорят про тех, кто из ничего взлетел высоко.

И вот написано: казнён.

Дальше шли другие имена, которых Иван не знал. Потом год — через три года от нынешнего. Год голода. «И пойдёт мор по новгородским землям, и по псковским, и умрёт людей столько, что некому будет хоронить». Просто так, без объяснений — год, голод, смерть.

Иван не верил в предсказания. Вернее, верил в Бога, в промысел Его, но юродивым подаяние давал не потому что боялся пророчеств, а потому что батя учил давать. Ворожей обходил стороной. Снам значения не придавал.

Это было другое.

Это было написано как отчёт. Без дрожи в руке, без заклинаний, без просьб к нечистому. Просто — то-то случится тогда-то. То-то — тогда-то.

Лучина мигнула и погасла.

Иван сидел в темноте, и только сквозь щели в ставнях серело ночное небо — ни луны, ни звёзд, снеговые тучи. Он нашарил свиток рукой, придержал. Темнота не пугала — он вырос в кузнице, знал её запахи и звуки наизусть. Но сейчас

в ней было что-то другое, будто кузница стала больше.

Он ждал, пока глаза привыкнут, потом встал, нащупал в нише запасную лучину, поджёг её от угольков в очаге. Руки не дрожали — он это проверил специально, поднёс к огню. Не дрожали.

Вернулся к свитку. Нашёл то место, которое читал уже несколько раз и всякий раз откладывал.

Оно было выделено — чуть крупнее буквы, чуть темнее чернила, будто перо нажали сильнее. Не заголовок, не приписка на полях. Стояло посреди текста, как камень посреди дороги.

«Аще не свернёт государь с пути сего в лето 1565-е, умоется Русь кровью на двадцать лет вперёд».

Иван поднял голову.

За стеной кузницы был посад — несколько улиц, огороды, церковь, трактир, бани. Люди, которых он знал по именам. Бортник Савелий. Вдова Авдотья с тремя детьми. Дьяк Прохор, тот самый, к которому его гонял батька учиться буквам. Кузнецов сын из соседнего прихода — они в детстве дрались за орехи и потом дружили. Все они будут живы или мертвы через двадцать лет — и рукопись знала, что будет.

Иван не понимал, что такое «опричина» — слово стояло в тексте несколько раз, и смысл его он ловил только из окружения. Что-то государево. Что-то страшное. Что-то, что забирает людей по ночам и не возвращает. «И учредит государь опричный порядок, и не будет от него пощады ни бо-

ярину, ни смерду, ни монаху». Он перечитал это дважды.

Монаху. Значит, и церкви достанется.

Вопрос, который крутился в голове, был не про страх и не про веру — он был проще и злее. Кто написал это? Не как, не почему — кто?

Не юродивый, не ворожея. Юродивые так не пишут — они кричат, пачкают стены углём, несут несвязное. А здесь — порядок, имена, даты. Это кто-то знал. Знал так, как знают то, что уже видели. Как Иван знал, что у Савельева улья стоят на северной опушке — потому что сам видел, не потому что ему сказали.

И этот кто-то запаял свиток в железный цилиндр и отправил в лом.

Не в монастырскую библиотеку. Не государю. Не думному дьяку. В лом — туда, где металл переплавляют и ничего не остаётся.

Иван смотрел на огонёк лучины. Тот мотнулся от сквозняка, выпрямился.

Может, других таких цилиндров было несколько, и все они стали железом. Может, этот выжил случайно — лом не дошёл до горна, осел в углу, занесло стружкой. Может, тот, кто прятал, не хотел, чтобы нашли. А может, хотел — именно так, именно здесь, именно чтобы кузнецов сын прочитал ночью при лучине и не смог выбросить.

Иван встал.

Свиток он держал двумя руками — аккуратно, как держат

что-то, что можно нечаянно смять. Подошёл к очагу. Угли ещё жили, красные под серым пеплом. Он наклонился, протянул руку — край пергамента нависал над жаром, и Иван чувствовал тепло на пальцах.

Постоял так.

Потом выпрямился.

Опустился на колени перед очагом, нашарил в кладке знакомую щель — широкую, с краями, сглаженными от старости. Батка когда-то прятал там деньги на чёрный день, потом перестал. Щель была сухая, защищённая от сквозняков нависающим камнем.

Свиток вошёл плотно.

Иван убрал руку, встал, отряхнул колени. Посмотрел на кладку — ничего не видно. Камень как камень.

Снаружи завыл ветер, потом стих.

Иван подобрал с пола железный цилиндр — пустой, холодный — и взвесил в ладони. Хорошая работа, незнакомая. Не здешняя.

Он положил цилиндр на верстак и лёг на лавку, не раздеваясь.

Сон не шёл.

* * *

Горн разгорелся ещё до рассвета.

Иван выходил в кузницу на полтора часа раньше отца — давно уже повелось так, — разжигал угли, ждал, пока жар станет ровным. Сейчас в горне полыхало правильно: не

слишком яростно, с ленивым гудением, которое он мог слушать часами. Хорошее пламя. Рабочее.

Свиток он держал в правой руке.

Левая придерживала его снизу — на случай, если пальцы ослабнут и он выронит. Смешная предосторожность: выронить можно было бы на пол, а не в горн. Но он всё равно держал двумя руками, и кончики пальцев ныли от жара.

Сожги — и конец.

Отец нашёл бы потом на дне горна оплавившийся цилиндр, спросил бы что-то, Иван ответил бы что-то. Лом есть лом, железки всякие попадают. Неделью назад такой разговор и состоялся бы именно так.

Пальцы не разжимались.

Он покосился на свиток. Буквы были видны даже в полутьме — тонкие, почти без нажима, будто писали не гусем, а иглой. Станный почерк. Иван не был большим грамотеем, но разобрать умел — отец настоял, чтобы дьякон учил. Тогда казалось, зачем кузнецу грамота. Сейчас он думал: вот зачем.

Имя стояло в рукописи на третьей странице. Не первой, не последней — на третьей, среди перечня, который он поначалу принял за список долгов или торговых расчётов.

Боярин Семён Образцов.

Иван видел его три дня назад на Варварском торгу. Старый, с бородой, в которую въелась седина клочьями, как мочало. Образцов торговался за соль — долго, упрямо, с на-

слаждением, как торгуются люди, которым не столько нужна соль, сколько хочется поторговаться. Солевщик злился, Образцов усмехался в бороду, перебирал пальцами край тулупа. Живой человек. Обыкновенный. Иван тогда прошёл мимо и думать о нём забыл.

Рукопись называла месяц. Не год — месяц. Через полгода. Иван поднял взгляд на горн.

Огонь ждал без спешки. Огню было всё равно: бумага ли, дерево ли — горит одинаково. Хорошее, незаинтересованное пламя.

Откуда ты знаешь, что это правда?

Он сам себе задал этот вопрос раз десять с прошлой ночи и каждый раз натыкался на одно: первые строки — те, что были о прошлом, — уже сбылись. Дата взятия Полоцка. Смерть воеводы, о которой в посаде судачили недели три назад. Ещё одно имя — боярин, отстранённый от должности ещё до того, как Иван нашёл цилиндр. Три совпадения. Три — это не случайность, это...

Он не знал, как это называть. Не было у него слов для этого.

Кто-то написал рукопись, зная наперёд. И этот кто-то знал про Образцова.

Иван медленно отвёл руку от горна.

Не потому, что испугался. Не потому, что был готов к подвигу. Он отвёл руку, потому что стоял перед ним — не государство, не царская воля, не какая-то большая история, ко-

торуую он плохо понимал и понимать не рвался, — стоял перед ним человек с мочальной бородой, который торговался за соль на морозе и которому через полгода отрубят голову.

Или что там делают с боярами.

Иван не знал точно. В рукописи было написано иначе — что-то про Александрову слободу, про суд, которого не будет. Там много чего было написано, и всё это у него сейчас плыло перед глазами, перемешивалось, но Образцов — Образцов стоял отдельно. Не как буква на бумаге, а как живой: морщины у глаз, дыхание паром, скрипучий голос торгующегося человека.

Если сожжёшь — ничего не изменится. Образцов умрёт, и ты не будешь знать, что мог.

Вот в чём была правда. Не в том, что он умный или храбрый, не в том, что понимал, как спасти бояр и менять царские решения. Ничего этого он не понимал совершенно. Он был кузнец двадцати лет, который никогда не бывал в Кремле дальше ворот. Просто знание стало бы его, и он нёс бы его в себе, пока Образцов торгуется на следующем торгу, и на следующем, и потом перестанет торговаться.

Пальцы сами свернули свиток плотнее.

Иван постоял ещё немного перед горном, глядя в жар. Огонь всё так же гудел, не зная, что его только что лишили работы.

Потом он отошёл к верстаку, поднял доску, положил свиток в щель между стеной и опорным брусом — туда, где

прятал мальчишкой монеты, которые жалел тратить. Сверху придвинул старую наковальню-ручник, чтобы не видно было ничего. Руки у него немного дрожали — от жара, только от жара.

Взял молот. Тяжёлый, привычный, рукоять отполирована до блеска — отец говорил, что хорошо отполированная рукоять не мозолит, а ведёт. Иван и теперь не понимал разницы, но держал всегда как учили.

Поставил на наковальню заготовку — петлю для ворот, недоделанную со вчера, — и начал бить.

Удар. Удар. Удар.

Кузница просыпалась вместе с ним: звон металла, запах горячего железа, искры, которые успеваешь заметить только краем глаза. Всё то же, что вчера и позавчера. Со стороны — ничего не изменилось.

Только теперь за доской у стены лежала бумага с именем живого человека и датой его смерти.

И Иван ещё не знал, что с этим делать. Совсем не знал. Но он знал, что не сожжёт, — и это было первым, что он знал твёрдо за всё утро.

Молот опустился снова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.